

- Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. Л., 1984.
- Лопухин И. В.* Некоторые черты о внутренней церкви // Русская философия второй половины XVIII века: Хрестоматия. Свердловск, 1990.
- Пиксанов Н. К.* Массонская литература // История русской литературы. М.; Л., 1947. Т. 4, ч. 2.
- Сахаров В.* Иероглифы вольных каменщиков // Массонство и русская литература XVIII – начала XIX в.
- Сахаров В.* Царство Астреи: Миф о золотом веке массонской литературы XVIII века // Русское массонство в портретах. М., 2004.
- Сахаров В.* Чаяния «ветхого Адама»: Человек в философии русских массонов // Русское массонство в портретах.
- Соловьев О. Ф.* Массонство: Слов.-справ. М., 2001.
- Херасков М. М.* Творения М. Хераскова, вновь исправленные и дополненные: В 12 ч. М., 1809. Ч. 2.
- Холл Мэнли П.* Энциклопедическое изложение массонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск, 1992.

**Э. М. Афанасьева**

## **РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ ОСНОВА «НЕВЫРАЗИМОГО» В. А. ЖУКОВСКОГО**

Романтическое стремление к постижению тайны мироздания неизбежно сталкивалось с проблемой отражения в слове масштабности мира. Слово, с одной стороны, было осмыслено как источник гениального прозрения, а с другой – как беспомощное орудие общения, обреченное на невозможность вместить в себя уникальность бытия. Глобальность творческим поискам придает христианское отношение к Слову как первооснове бытия: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» [Иоан., 1, 1]. Оппозицией словесному образу стала для романтиков эстетика молчания, которая имела к началу XIX в. серьезную религиозно-философскую традицию осмысления.

© Афанасьева Э. М., 2007

Молчание как особое волевое решение связано с разными причинами, смыслопорождение которых колеблется от полюса абсолютного невежества (отказ, нежелание идти на диалог, стремление «выдержать паузу» и т. п.) до полюса абсолютных человеческих ценностей (обет безмолвия, отделяющий человека от мирской суеты). Жак Деррида, к примеру, проблему молчания вводит в сферу «искусства не-ответа или отсроченного ответа», соотносимого с риторикой войны, полемической хитростью: «Вежливое молчание может стать самым дерзким оружием и самой едкой иронией» [Деррида, 1998, 41]. Истоки осмысления молчания как философского поступка находятся в раннем эллинизме, в частности в скептицизме, где оно определялось как «ответ на кричащие запросы жизни», по мнению А. Ф. Лосева, «это один их самых сложных и глубоких философских ответов вообще» [Лосев, 2000, 455].

Ритуальное молчание имеет религиозную природу. Являясь одной из степеней духовного совершенствования, в поучениях Иоанна Лествичника оно называется «матерью молитвы». При этом важен не отказ от слова как такового, а осознанное стремление к вдумчивому постижению события богообщения, отсюда определение этого состояния как «благоразумного молчания»: «Любитель молчания приближается к Богу и, тайно с Ним беседа, просвещается от Него» [Иоанн Лествичник, 1997, 204]. Двенадцать седьмая степень в Лествице духовной связана с понятием священного безмолвия тела и души. «Кто постиг безмолвие, тот узнал глубину таинств; но не вошел в оную, если бы не увидел и не услышал прежде дыхания бесовских ветров и возмущения волн искушений» [Там же, 414]. В поучениях святых отцов ключевыми оказываются следующие моменты: отказ от многословия, которое приравняется к греховному искушению; постижение божественной истины через деятельное молитвенное молчание; любовь к безмолвию. История христианства знает расцвет подобного сверхвербального служения Богу – исихазм. Слово греческого происхождения  $\eta\sigma\upsilon\chi\alpha$  означает покой, безмолвие, отрешенность [Христианство, 1993, 652]. Подвижническая жизнь аскетов-пустынножителей первых веков христианства стала истоком осмысления мирообраза христианского монашества. К XIV в. священнобез-

молвие оформилось как особая практика мистического богословия, сопровождающаяся опытом поучения подвижников Церкви. Исихасты выработали даже особую систему дыхания, позволяющую в процессе богообщения приблизиться к прозрению божественного нетварного света и внутреннего рая. Сподвижниками священнобезмолвия стали монах Макарий Египетский (IV в.), Симеон Новый Богослов, Иоанн Златоуст, Иоанн Лествичник, Григорий Палама. Кульминационные идеи исихазма были органично усвоены русской культурой, прежде всего духовно-религиозной традицией [см.: Видмарович, 2003].

Молчание – событие интригующее, объяснение его внутреннего смысла порождает вереницу словесных доказательств. Так рождается один из культурных парадоксов: для объяснения природы молчания необходим значительный контекст словесных доказательств. Если в философской традиции невербальная пауза актуализирует проблему диалоговой стратегии, то христианский аскетизм ориентирован на мистическое постижение божественной сути в напряженном деятельном молчании, предполагающем концентрацию умственных и душевных сил.

Эстетика молчания у романтиков проецировалась на уровень композиции произведений (например, пропущенные строфы «Евгения Онегина» Пушкина или прерванный на полтора месяца дневник Печорина в «Герое нашего времени» Лермонтова), на категорию романтической тайны (умолчание имени возлюбленной, послания «К\*\*\*», «NN» и т. п.) или лирическую философию («А душу можно ль рассказать?» – М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»; Ф. И. Тютчев. «Silentium!»). Глобальные вопросы о происхождении Слова, его природе, о взаимодействии звука и смысла, о возможностях диалога или непостижимости человеческой души формировали поэтическую философию. Во многом эстетика романтической тайны и глубинного смысла молчания была определена стихотворением В. А. Жуковского «Невыразимое», которое стало одним из эстетических манифестов литературной эпохи XIX в. и «лирической философией» автора [Янушкевич, 2006, 156–157, 170–177].

## НЕВЫРАЗИМОЕ (Отрывок)

Что наш язык земной пред дивною природой?  
С какой небрежною и легкою свободой  
Она рассыпала повсюду красоту  
И разнovidное с единством согласила!  
Но где, какая кисть ее изобразила?  
Едва-едва одну ее черту  
С усилием поймать удастся вдохновенью...  
Но лъзя ли в мертвое живое передать?  
Кто мог создание в словах пересоздать?  
Невыразимое подвластно ль выраженью?..  
Святые таинства, лишь сердце знает вас.  
Не часто ли в величественный час  
Вечернего земли преображенья,  
Когда душа смятенная полна  
Пророчеством великого виденья  
И в беспредельное унесена, –  
Спирается в груди болезненное чувство,  
Хотим прекрасное в полете удержать,  
Неназаченному хотим название дать –  
И обессиленно безмолвствует искусство?  
Что видимо очам – сей пламень облаков,  
По небу тихому летящих,  
Сие дрожанье вод блестящих,  
Сии картины берегов  
В пожаре пышного заката –  
Сии столь *яркие черты* –  
Легко их ловит мысль крылата,  
И есть *слова* для их *блестящей* красоты.  
Но то, что слито с сей блестящей красотой –  
Сие столь смутное, волнующее нас,  
Сей внемлемый одной душой  
Обворожающего глас,  
Сие к далекому стремленье,  
Сей миновавшего привет  
(Как прилетевшее незапно дуновенье  
От луга родины, где был когда-то цвет,  
*Святая молодость*, где жило упованье),

Сие шепнувшее душе воспоминанье  
О милом радостном и скорбном старины,  
Сия сходящая святыня с вышины,  
Сие присутствие Создателя в создание –  
Какой для них язык?.. Горé душа летит,  
Все необъятное в единый вздох теснится,  
И лишь молчание понятно говорит.

[Курсив автора; Жуковский, 2000, 129–130].

Стихотворение написано в 1819 г., а опубликовано в 1827 г. в альманахе «Памятники отечественных муз» [об истории создания см.: Янушкевич, 2006, 158, 170]. Очевидно, что Жуковский не торопился с публикацией, промежуток между созданием текста и знакомством с ним читателя значителен. Тем значительней и осознанный публикаторский шаг. У. М. Тодд III видит в решении познакомить читателей с «Отрывком» вызов, брошенный Жуковским живописному воображению К. Н. Батюшкова, опиравшему впечатления от острова Иксия. «Стихотворение, оставляя без внимания природу в батюшковском эмпирическом восприятии, обращено к высшей воле, которая и создала природу, и растворена в ней» [Тодд, 1994, 77].

Лингвофилософская проблема взаимодействия языка и мироздания, центральная для «Невыразимого», была центральной и для художественно-эстетических взглядов Жуковского [см.: Янушкевич, 1978, 27–51]. В начале 1800-х гг. поэт задумывается над составлением новой грамматики русского языка по образцу Кондильяка. Он внимательно изучает «Российскую грамматику» М. В. Ломоносова, «Опыт риторики» И. С. Рижского (М., 1809). В поле его зрения – языковая теория Гердера. Лингвистические интересы Жуковского носят масштабный характер: от проблемы происхождения языка, его эволюции, взаимодействия церковнославянской и русской языковых систем до изучения грамматических форм и категорий. И на этом фоне – создание поэтического шедевра, которому суждено будет сыграть ключевую роль в постижении тайн творчества, природы языка, эстетики молчания русскими поэтами – современниками и преемниками Жуковского. По точному определению томских исследователей, «главная сложность поэтического творчества, по Жуковскому,

лежащая в основе его эстетики “невыразимого”, – насущная потребность выразить присутствие Бога в Слове-откровении» [Канунова, Айзикова, 2001, 88]. Религиозная природа стихотворения не оставалась не замеченной исследователями. Ю. В. Манн вскользь говорит о пантеистическом настрое лирического героя, ощущающего «присутствие Создателя в создании» [Манн, 2001, 30], Г. А. Гуковский тонко подметил мотив молитвенного экстаза, присутствующий в лирическом событии стихотворения [Гуковский, 1995, 36–37]. Современный исследователь Е. А. Трофимов обращается к проблеме иконописных основ текста, в частности, репрезентации в произведении Жуковского религиозной образности иконы «Преображенья» [Трофимов, 1998].

Завязкой лирического события «Невыразимого» становится глобальный философский вопрос, который словно вырван из предыдущего потока мысли, превращает его в «отрывок», фрагмент: «Что наш язык земной пред дивною природой?» Лирическая медитация, явившаяся попыткой ответа на этот вопрос, завершается в финале возвратом к начальной ситуации: «Какой для них язык?» Так возникает тематическое кольцо, обнажающее ключевую проблему возможностей человеческого языка и отражения в слове полноты мироздания. Вопрос о взаимоотношении языка и действительности в контексте стихотворения исключает толкование языка как формы отражения мира. Мир у Жуковского воспринимается как самодостаточное явление жизни, целостное и многогранное описание которого недоступно человеку. Образ языка абстрагирован. Это не конкретная языковая система, а универсальная модель общечеловеческого, «земного», способа диалога с мирозданием. Однако несмотря на однотипность начального и финального вопросов, они существенно отличаются друг от друга; между ними лежит ситуация преобразования сознания субъекта лирического высказывания, который проходит путь от замкнутой сферы пребывания в «языковом плену» («Что наш язык?») к поиску *новых* языковых возможностей («Какой для них язык?..»). И если на начальный вопрос существует попытка ответа, то финальный – уходит в многоточие и определяет новый виток лирической медитации, который проецируется во внелитературную сферу финала стихотворения, продолжая тему «Отрывка».

Онтология слова, проблема происхождения и возможностей языка у романтиков получает философскую мотивировку. Они прежде всего разрабатывают теорию многоплановости языковых возможностей, актуализируя веерную характеристику разнообразных языковых миров: язык человека, язык цветов, язык жестов, язык искусства (музыки, поэзии, живописи) и т. д. Романтическая философия складывалась в диалоге с предшествовавшими эпохами. Язык есть память народа, в мифологическом контексте он является хранителем памяти о первотворении, позволяя отдельному человеку погрузиться в припоминание райского блаженства. Таким образом, через язык можно постичь глубинный смысл бытия.

Образ «земного языка» в стихотворении Жуковского концентрирует разные ипостаси романтической концепции; вбирает в себя творческое начало и, как это ни парадоксально, – «говорящее молчание» («И лишь *молчание* понятно *говорит*»). Оксюморонная симметрия организует поэтику начала и финала «Отрывка»: в начале осуществляется попытка *объяснения* с помощью слов категории *невыразимого*, в финале возникает глобальный вывод о «говорящем молчании».

На фоне рассуждений о человеческих возможностях словесного «пересоздания» божественного творения возникает драматический конфликт *выражения невыразимого*. Невыразимое – для Жуковского эстетическая модель восприятия божественной красоты мира сквозь призму душевной красоты. Высшая форма макрокосмического диалога определяется как слияние человека с надличностным началом. В лирическом движении мысли стихотворения выделяются микротемы, организующие философский монолог. Начало текста отражает эмоциональную смену чувств субъекта лирического высказывания от сомнения-вопроса до восторга-восклицания. Центральная тема – красота природы. Она начинает свое развитие с мотива дива, который, с одной стороны, восходит к идее чуда, диковинки, с другой – определяет пиковую точку восторга – удивления:

Что наш язык земной пред дивною природой?  
С какой небрежною и легкою свободой  
Она рассыпала повсюду красоту  
И разнovidное с единством согласила!

В оппозиции «наш язык»/«дивная природа» обозначена ситуация общечеловеческого масштаба (не случайно Жуковский использует притяжательное местоимение «наш»): мы перед чудом мироздания. При этом возникают текстовые колебания между общечеловеческими обобщениями и личностной уникальностью восприятия с позиции конкретного я, описывающего гармонию мира, рождающуюся из небрежности и непринужденной легкости. Это я обретает надчеловеческий смысл, так как тяготеет к высшей сфере знания законов природы в их целостности. Лирический восторг определяет всеохватывающую позицию *созерцателя*, который способен видеть красоту всего мироздания («Она рассыпала повсюду красоту»).

Вслед за начальной темой красоты природы развивается тема искусства, которое воспринимается как фрагмент, «одна черта» отраженной реальности. Жанровая идея «Отрывка» проецируется в сферу возможностей творчества:

Но где, какая кисть ее изобразила?  
Едва-едва одну ее черту  
С усилием поймать удастся вдохновенью...  
Но лзя ли в мертвое живое передать?  
Кто мог создание в словах пересоздать?  
Невыразимое подвластно ль выраженью?..

Легкости природной гармонии противопоставлены усилия вдохновения. Нанизывание противоположностей в цепочной системе вопросов освещает разные грани взаимодействия природы и творчества. Сначала обозначена непреложная данность отторжения одного от другого («мертвое» и «живое»: «Но лзя ли в мертвое живое передать?»), далее определяется цель искусства («создание в словах пересоздать»). Завершается риторический блок проблемой возможностей творчества («невыразимое» и «выражение»). Центральная идея «невыразимого» в данном контексте обретает бытийно-религиозный смысл, развиваясь из романтической трактовки творчества как второй реальности. В таком случае миссия творца (поэта, художника, музыканта) по своей сверхзадаче уподобляется миссии Бога-Творца: «Кто мог создание в словах пересоздать?» Красота мира потому и совершенна, что рождена из божественной воли и божественным словом. А ее



невыразимость проистекает из ограниченных возможностей «земного» способа выражения («земного языка»).

Центральный тематический блок – восприятие вечернего пейзажа, который дан как с позиции внутреннего, духовного видения, так и с точки зрения реально-визуальной оценки. Эмоциональное переживание таинственной природы вечернего пейзажа можно соотнести с «Вечерним размышлением о Божием величии...» М. В. Ломоносова, которое также системой глобальных вопросов расширяет границы познания мира. У Жуковского переживание величественной красоты природы на первый план выводит тему духовного созерцания:

Святые таинства, лишь сердце знает вас.  
Не часто ли в величественный час  
Вечернего земли преображенья,  
Когда душа смятенная полна  
Пророчеством великого виденья  
И в беспредельное унесена, –  
Спирается в груди болезненное чувство,  
Хотим прекрасное в полете удержать,  
Неназаченному хотим название дать –  
И обессилено безмолвствует искусство?

Эгоцентричная позиция лирического героя, обращенного к «памяти сердца» («лишь сердце знает вас»), сменяется душевным смятением и душевной полнотой, подготавливающими преобразование героя. Кульминацией лирического восторга становится мотив духовного полета, через который происходит преодоление телесной оболочки, пространственный прорыв и слияние души с мирозданием («И в беспредельное унесена»). Динамика духовного преображения основана на религиозных мотивах «святых таинств» и «пророчеств». Герой проходит путь от «внутреннего знания» к сверхзнанию «пророческого видения». Завершается этот медитативный фрагмент истощением душевных сил. На смену словообразам «сердце», «душа» приходит словообраз «грудь», возвращающий лирического героя в сферу замкнутости телесного мира: «Спирается в груди болезненное чувство». Драматический конфликт между великим постижением тайны и невозможностью ее выражения концентрируется в идее обессиленного безмолвия искусства. Это – пороговая ситуация, порожденная болезненным

истощением душевных сил, однако динамика лирической мысли сакрализует ситуацию «безмолвия», которое начинает восприниматься как особого рода событие. Религиозный контекст лирической медитации восходит к христианскому мифу о творении мира через Слово. Мотив безмолвия в этом фрагменте определяется через невозможность *наречения ненареченного*: «Ненареченному хотим название дать». Рефлектирующее «я» посягает на сверхчеловеческий поступок называния еще ненареченного. Отсюда – истощение и болезненное состояние, напоминание о телесности, насыщенной внутренней болью. В кульминационной точке провидения тайн мироздания человек оказывается в состоянии болезненного переживания невозможности их словесного отражения. Подобный конфликт имеет религиозную основу сопоставления языка божественного и земного, восходящего к библейской традиции. Приведем примеры из псалмов: «Слова Господни – слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное» [Пс., 11, 7]; «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их» [Пс., 18, 2–4]. Божественному слову в «Невыразимом» противопоставлены земные возможности языка.

Вслед за мотивом духовного провидения вечерних тайн у Жуковского следует описание картины заката, переданной с помощью зрительных возможностей человека. Видение лирического героя сейчас не панорамно, здесь представлен особый спектр зрительных впечатлений, приближенный к возможностям реального восприятия мира, это своего рода «угол зрения», где высшая точка видения – небо с плывущими по нему облаками, низшая – дрожанье вод, и дальняя перспектива – берега:

Что видимо очам – сей пламень облаков,  
По небу тихому летящих,  
Сие дрожанье вод блестящих,  
Сии картины берегов  
В пожаре пышного заката –  
Сии столь *яркие черты* –  
Легко их ловит мысль крылата,  
И есть слова для их *блестящей* красоты.

В этом фрагменте соединяется видение и знание героя: видимый мир залит пламенем облаков и пожаром заката, но провиденциальное знание и «мысль крылата» угадывает за световым фоном очертания окружающего мира: «тихое небо», «дрожанье вод», «картины берегов».

Но то, что слито с сей блестящей красотой –  
Сие столь смутное, волнующее нас,  
Сей внелемый одной душой  
Обворожающего глас,  
Сие к далекому стремленье,  
Сей миновавшего привет  
(Как прилетевшее незапно дуновенье  
От луга родины, где был когда-то цвет,  
*Святая молодость*, где жило упование),  
Сие шепнувшее душе воспоминанье  
О милом радостном и скорбном старины,  
Сия сходящая святыня с вышины,  
Сие присутствие Создателя в создание –  
Какой для них язык?..

Лирическое событие, в основе которого лежит идея дива/чуда, постепенно готовит чудесное преображение субъекта лирического высказывания. Оторвавшись от земных условий «языкового плена», он приобщается к сверхвербальному, сакральному диалогу с мирозданием. Он слышит «обворожающего глас», «миновавшего привет», «шепот воспоминанья». Заявленный ранее мотив пророчества преобразует возможности духовного диалога и создает условие для величайшего провидения: присутствия Создателя в создании. В этом контексте воспоминание о *«святой молодости»*, соотносимое с образом цветущего луга родины, теряет реально биографические черты и наполняется общечеловеческим смыслом, вызывая ассоциации с райским миром, являющимся святой колыбелью всего человечества. О постепенном зарождении в лирической медитации высшего таинственного смысла, который становится доступен сознанию героя, свидетельствует появление курсивного блока, способствующего постижению природы словесного образа.

Если восстановить динамику преображения лирического героя, то можно обнаружить постепенное движение от земной,

человеческой системы ценностей к надземной, провиденциальной. Его путь от знания к пророческому видению проходит границу обессиленного безмолвия, сокрытого в телесной замкнутости болезненного чувства. За этой границей следует прорыв к сверхзнанию и постижению тайной природы молчания: «И лишь молчание понятно говорит». Молчание осмыслено как один из глобальных законов жизни. Душа, возносящаяся к горным высотам божественного мира, постигает основную тайну бытия. Финальный мотив душевного полета («Горе душа летит...») придает особый смысл жанровому подзаголовку, семантика которого не только фиксирует идею незавершенности, фрагмента, но и значение «отрыва», преодоления телесности и вещественности, переход к высшим основам бытия. Преодолеваются и законы телесности, и границы видимого мира. Лирическая медитация, пронзая горный мир в финале стихотворения, образует сакрально ценностную вертикаль. Как только она определена – словесное событие обретает абсолютную внесловесную ценность. «Говорящее молчание» становится концентратом душевных и умственных сил, итогом стяжения мысли на единственно ценностном явлении: присутствии Создателя в создании.

Процесс выражения невыразимого в лирическом движении мысли стихотворения Жуковского сродни инициальному поэтапному погружению в тайны бытия: от отстраненного восприятия мира к стремлению слияния с ним. В лиминарном (пограничном) состоянии возникает дисгармония между духовной и телесной субстанциями и воспаляется болевая точка «болезненного чувства». Высшей сферой постижения сущности бытия становится прапамять о райском мире и слияние с божественной сутью мироздания. Мотив вдоха («Все необъятное в единый вздох теснится») наполняет финал текста жизненным дыханием, жизнь предстает в ее грандиозной необъятной полноте. Вдох / выдох есть ритм жизни, вписанной в промежуток от первого вдоха до последнего. Вдох – напряженный, осознанный, размеренный и затяжной жест слияния с дуновением божественного мира. Этим «вздохом» наполнен словесный жест финала, он есть напоминание о божественной природе происхождения человека: «И создал Господь Бог человека

из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни» [Быт., 2, 7]. Грандиозность прозрения сливается с мотивом «теснения», придающего философии «говорящего молчания» сакрально значимую концентрацию божественного смысла. Удивительно точно лирическое движение мысли стихотворения Жуковского отражает центральные идеи священнобезмолвия мистического богословия, сформулированного исихастами: постижение божественного первосмысла через приобщение ума и сердца к Богу, прозрение райского мира, особая практика дыхания, позволяющая сконцентрироваться на внутреннем прозрении. «Говорящее молчание» у Жуковского наполняется внутренним божественным смыслом красоты и совершенства мира.

---

*Видмарович Н.* Священнобезмолвие в древнерусской литературе. Zagreb, 2003.

*Деррида Ж.* Эссе об имени / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.; СПб., 1998.

*Жуковский В. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2000. Т. 2.

*Иоанн Лествичник.* Лествица, возводящая на небо. М., 1997. (Репринт. изд. 1862 г.)

*Канунова Ф. З., Айзикова И. А.* Нравственно-эстетические искания русского романтизма и религия (1820–1840-е гг.). Новосибирск, 2003.

*Лосев А. Ф.* История античной эстетики. Ранний эллинизм. Харьков; Москва, 2000.

*Тодд У. М. III.* Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху / Пер. с англ. И. Ю. Куберского. СПб., 1994.

*Трофимов Е. А.* Иконография «Невыразимого» // Вопросы онтологической поэтики. Потаенная литература: Исслед. и материалы. Иваново, 1998.

Христианство: Энцикл. слов.: В 2 т. М., 1993. Т. 1.

*Янушкевич А. С.* Книги по истории и теории российской словесности в библиотеке В. А. Жуковского // Библиотека В. А. Жуковского в Томске: В 2 ч. Томск, 1978. Ч. 1. С. 27–51.

*Янушкевич А. С.* В мире Жуковского. М., 2006.